





## ...☀️ ГЛАВА 1 ☀️...

Димитрий знал, что он почти умер. Он был как бы и в теле своем, странно и пугающе неподвижном, и вовне. Он чувствовал, как это тело ворочают, укладывают, пытаются согреть силой, но та уходит в дыру, которой является он сам.

Он пытался дышать.

Но получалось плохо. Сердце то несло вскачь, то, споткнувшись, замирало, и Димитрий понимал, что очень скоро оно остановится.

А потом... стало больно. И плохо.

И кажется, он кричал, только никто не слышал, кроме, пожалуй, свяги. Он зацепился за взгляд льдистых ее глаз и запутался в нем. Он хотел вырваться, ибо взгляд обещал покой, а Димитрий покоя не желал... и он рвался, рвался.

А потом свяга отпустила.

И к нему вернулась возможность дышать, а с нею и видеть. И то, что он увидел, ему совершенно не понравилось.

— Вас спасаем, — ответила рыжая, вытирая рукавом щеку. Рукав был пыльным, щека грязной, а рыжая... до-нельзя расстроенной.

— Спасибо...

— Лежите, — Одовецкая разминала руки. — Я срастила кость и постаралась вычистить кровь, но... лежите... все же мне пока до бабушки далеко, и вообще подобные раны, чтоб вы знали, считаются смертельными. И вам просто повезло.

Тихо усмехнулась свяга, сворачивая покров призрачных крыльев. И взгляд ее потеплел. А Димитрий попытался было сесть, но понял, что не способен и пальцем пошевелить.

— Я же говорила, что они сразу вскочить пытаются. Лезите, вам еще сутки шевелиться нельзя, если вы выжить хотите.

Выжить Димитрий хотел. Но вот...

— Лешек...

Надобно было позвать кого-то, но кого... и как... и...

— Снежка, он теперь более-менее стабилен. Сумеешь перенести?

И вновь задрожали, расправляясь, полупрозрачные крылья. И раздалась ткань мироздания, пропускающая ту, которая принадлежала обоим мирам.

Долго ли, коротко ли...

В темном небе мгла носилась, и Лешек с нею вместе. В какой-то миг сила признала его, обняла ласково, понесла по-над миром. Она растянулась радужным мостом от Северных врат, от мрачных лесов кедровых, до кипящего Южного моря. И Лешек с нею пил горькую воду, носился меж пухлыми облаками, чтобы после нырнуть в глубокую смоляную яму.

Он заглянул в Гнилополье — иссушенное, изломанное.

Он связал разорванные нити, не возрождая мир, но давая лишь малый шанс.

Он побывал на дне Изрючьей бухты, где все еще умирали корабли, пусть и затонувшие много лет тому. Он подобрал утопленников, больше не имело значения, смутьяны они ли те, кто держался клятвы. Он подарил им покой.

Он... вернулся.

Арсинор пылал разноцветьем огней, и это было прекрасно. А небо, будто подхвативши краски, наполнялось алым. Стало быть, рассвет недалече и надобно спускаться. Сила, услышав его желание, покорно спустилась, хлестанув напоследок небо плетью ветра.

Загудел небосвод.

Польхнул огнем ярким, грохотом отозвался. Вздогнул Арсинор, того и гляди провалится сквозь землю, но ничего, устоял. А Лешек удержался на широкой конской спине. И сила ушла сквозь землю, просочилась сквозь камень, который блеснул золотыми искрами скрытых кладов. Полозова кровь потянулась к ним, да Лешек устоял.

После соберет. Коль нужда выйдет.

Сила же, оказавшись в зале, загарцевала, закружила да и встала точно вкопанная. Только ишь, ушами прядет да косится глазом огненным.

— Спасибо, — Лешек провел ладонью по горячему боку. — Ты ж моя красавица... умница...

Он спешил и не без опаски убрал руку, но сила крутанулась, рассыпаясь темным дымом, а дым обернулся пеплом, и тот, соленый, осел на коже, на одежде, на губах.

Вот тебе и...

Князя уложили на Лизветину постель. Выглядел он, к слову, препоганейше. Нет, он и в прежние-то времена, следует сказать, красотой особой не отличался, а теперь и вовсе.

Кожа серая. Глаза запали.

Только нос клювастый торчит да волосья в разные стороны. А глаза посверкивают грозно.

— Надо... — он попытался встать, но Одовецкая не позволила. Прижала руку к груди и, поморщившись, признала:

— Надо целителя позвать.

— А ты кто? — Таровицкая сняла с платья паутинку.

— Я целитель, только... — Аглая вздохнула и, погрозивши князю пальцем, добавила: — Я ж теорию знаю, а практика, она другая. Думаешь, мне там было где практиковаться? В монастыре редко приключается что серьезное. С простудами вот шли, с переломами, а у него, между прочим, повреждения мозга.

— Лешек... надо... — князь руку стряхнул и сесть попытался, впрочем, тут же растянулся на постели с преблаженной улыбкой.

— Что ты сделала? — Лизавете было тревожно и за князя, и за наследника, который, верно, остался в подземельях, иначе зачем князь туда так рвется?

И стало быть, надо сообщить, но кому?

— Папеньке скажу, — Таровицкая ладонью пригладила встрепанные волосы.

— Погодь, — Авдотья с видом презадумчивым на револьвер оставилась. — Я с тобой. Не дело это, нынешним часом в одиночестве гулять.

И Солнцелика не стала противиться, кивнула и поинтересовалась:

— А второй где?

— Не знаю... потерялся, наверное... — Авдотья нахмурилась паче прежнего. И Лизавета тоже. Было этакое ощущение некоторой неправильности.

— Сила его позвала, — Снежка стояла у окна, обняв себя, практически закутавшись в белые крылья. Полупрозрачные, они спускались до самой земли, и, говоря по правде, гляделась Снежка жутковато. Ныне в ней, может, вовсе не осталось человеческого. Черты лица и те заострились, вытянулись, и того и гляди ударится оземь да и обернется лебедем. — Он и пошел... с силой управится, значит, вернется.

— А если нет?

— Никто ему не поможет, — она смотрела в окно.

И Лизавета глянула.

Небо было... алым? Аккурат как шелковый платок, который папенька матушке подарил. И молнии расплзались, что шитье золотое. Надо же, ни тучки, а туда же, молнии.

— И все-таки сказать надо, — Таровицкая перебросила косу за спину. — И целителя, раз уж такое дело...

— Бабушку...

— Хорошо.

Они вышли, а Лизавета... она просто желала убедиться, что князь дышит. Села рядышком, взяла за руку. Холодная какая. И тяжелая. Да и князь не легонький, всего-то пару шагов надобно было сделать, а едва сумели. Пока еще на кровать положили.

По ладони линии расплзаются.

И Лизавета их гладит.

Как тетушка там учила? Линия жизни... вот она, тонкой ниточкой протянулась ажно на запястье, значит, жизнь князю суждена долгая. И впору порадоваться, только как-то все одно страшно. А вот холм Венеры, ромейской богини, которая за любовь отвечает. И еще одна линия под ним, сердечная, ишь, толстая какая, глубокая. Тетушка всенепременно увидала бы в том знак особый, а вот Лизавета только и способна на руку пялиться.

Дышит.

Ровно так дышит, спокойно... и неприлично разглядывать спящих мужчин, однако Лизавета не способна взгляда отвести. Вот морщинки на лбу. И родимое пятнышко под левым глазом, смешное, будто мушку князь

наклеил по старой моде. Пятнышко тянет потрогать, но это уж и вовсе...

— Он оправится, — Одовецкая положила ладони на виски. — Главное, чтобы теперь лежал хотя бы сутки, пока ткани не стабилизируются. Иначе кровоизлияние и...

И он умрет?

Не умрет. Лизавета не позволит. Она не хочет, чтобы люди, ей близкие, умирали. Хватит уже. А он близкий? Щетина темная на подбородке пробилась. Колет пальцы. А губы резкие. Интересно, он пощечину простил?

Лизавета вздохнула.

А князь открыл-таки глаза.

— Вот упрямец, — почти восхитилась Аглая, впрочем, рук своих с головы Навойского не убрав. — И главное, какая поразительная устойчивость к внушению... Спи уже.

Спать князь не собирался. Его взгляд зацепился за Лизавету, и губы растянулись в нелепой улыбке:

— Ты... рыжая... знаешь, у рыжих глаза должны быть зелеными.

— Почему? — тихо спросила она.

— Потому что так положено. Но твои мне нравятся больше. Темные. Как вишня. Я вишню люблю. Она кислая... а ты...

— Тоже кислая?

— Рыжая... бесстыжая...

Захотелось одновременно и заплакать, и побить князя подушкой. Тоже придумал — бесстыжая...

— Он не совсем чтобы в себе, — Одовецкая пальцы отняла. — Спутанность сознания — это нормально. Хотя... моя тетушка говорила, что люди, когда бредят, не лгут...

— И целоваться ты толком не умеешь...

Лизавета почувствовала, как вспыхнули щеки.

Целоваться? Не умеет?

— Но я научу, — князь таки закрыл глаза. — Потом... устал что-то...

— Значит, надо отдыхать.

— Буду... только ты не уходи, ладно?

— Не уйду, — пообещала Лизавета, мысленно проклиная себя и за слабость, и за язык чересчур длинный.

— Хорошо... Только в следующий раз я тебя лучше клубничкой накормлю, с клубничкой целоваться будет вкуснее, чем с огурцом.

Одовецкая сделала вид, что занята исключительно содержимым своего кофра, за что Лизавета была ей невероятно благодарна.

А еще Лизавету не оставляло ощущение, что она забыла о чем-то важном.

Лешек вышел из круга.

Огляделся.

Тьма была кромешной, но не для внука Полоза. Он коснулся стены, пробуждая камень к жизни, и тот слабо за светился.

— Митька! — Лешек весьма надеялся, что у старого приятеля хватило выдержки дожидаться его возвращения. В пользу того говорила приятная пустота подземелий.

Ни магов-поисковиков, ни войска. Ни обеспокоенного папеньки. Ни, что характерно, самого Митьки.

Лешек прислушался к камню и, крутанувшись, шагнул туда, где почуял живое человеческое тепло.

— Митька, зараза ты этакая... — он запнулся.

Митьки не было.

В уголке, прижимаясь к холодной стене, сидела девушка вида самого несчастного и баюкала в руках револьвер.

— Не подходи, — сказала она, револьвер поднимая, — а то стрельну!

— Зачем?

Девушка была смутно знакомой.

Где-то он определенно видел ее, но вот где, когда? Среди красавиц? Или просто во дворце... Неважно, главное, что в подземельях девице точно было не место.

— Митька где? — поинтересовался он.

А девушка ответила:

— Унесли.

— Кто?

— Девочки. Он раненый был. И Одовецкая сказала сперва, что он умрет...

Сердце кольнуло.

— А потом Лизавета его позвала, и Одовецкая ему голове разрешила...

Душа перевернулась.

Митька умереть не может. Он, конечно, не древнего рода, но маг, и силы изрядной. И не может он умереть, и все тут!

— Она там кости правила, — девица коснулась пальчиками виска, но револьвер не убрала. — А потом сказала, что его можно уносить.

— И унесли?

Она кивнула, уточнив:

— Асинья... тропу открыла...

— А ты?

Девица вздохнула печально-препечально, признаваясь:

— А меня забыли...

Ага. Забыли. Взяли и...

— Они не виноваты, — она опустила взгляд. — Просто... дар у меня такой, меня и родные — маменька трижды на ярмарке забывала. Там людей много, я пугалась, и вот... последнего раза меня два дня искали. И маменька сказала, что больше на ярмарку брать меня не станет, потому что у нее нервы слабые. А я же не виновата. Дар просто... я чуть отошла, там блеснуло что-то, а когда вернулась, то их... Не успела. И куда идти, не знаю.

Лешек протянул руку:

— Я знаю.

Ее ладошка оказалась теплой, а пальцы дрожали, и вид у девицы был на редкость неподходящий для таких прогулок. Вон платье тоненькое, коротенькое, когда сидит, то и коленки ободранные видны. И девица смутилась, потянула за подол, эти самые коленки прикрывая.

Зря. Лешек бы еще поглядел.

— Звать-то тебя как, чудо?

— Дарья, — сказала она и, тихонько вздохнув, добавила: — Только вы ж все равно забудете... Все забывают.

Лешек не стал расстраивать: у змей память на редкость хорошая. А еще от девицы пахло молочным янтарем и самую капельку — медом. Мед Лешек любил, особенно если гречишный.

Волосы у Дарьи аккурат такого вот колеру, темненькие и завиваются.

— Папенька вот... Он же с даром тоже, от него и братьям моим передалось, но с ними, он говорил, всяко попроще будет, а я... Я когда пугаюсь, оно особенно сильно получается, непроизвольно. А пугаюсь я часто.

Она шла рядышком, и набойки туфельек цокали по камням, что копытца.



Невысокая. Аккуратная вся какая-то. Личико вот остренькое, с подбородком мягким и огромными глазами золотого колера.

Лешек даже сглотнул, до того вдруг захотелось заглянуть в них и убедиться, вправду ли золотые. Но удержался.

— Мне настойку делают. Только я от нее спать все время хочу. Не знаю, что хуже, спать или постоянно теряться. Теряться-то я с большего привыкла, приучилась сама.

— А во дворце чего делаете?

Лешек остановился и, сняв испачканный, местами драный, а то и вовсе обгоревший пиджачишко, набросил на плечи новой знакомой.

Мед. И нефрит молочный, той редкой породы, которая не каждому мастеру глянется. И еще собственно молоко, парное, с высокой шапкой пены.

— Так конкурс же... Матушка захотела. Я ведь... мне ведь двадцать три почти, и матушка говорит, что в двадцать три неприлично безмужней быть. Она хотела сговорить меня, но сперва забывала тоже, а после... Знакомиться стали, и понимаете, у нас и соседи есть хорошие, и матушкины приятельницы, только они, когда говорят, меня помнят, а взгляд отведут, и все... То есть знают, что я есть, но вот зачем я им нужна...

И правильно, и хорошо... А то знаем мы эти нравы провинциальные, сговорили б девчонку, едва десятый год ей пошел, а в четырнадцать и вовсе сговор в церкви скрепили, неразрушимым делаю. И была б она теперь замужем, а не шлялась по подземельям в сомнительной компании.

Правда, тут же Лешек решил, что он-то аккурат компания наиподходящая.

— Маменька пробовала женихов и к нам приглашать, и нам ездить гостеваться... Только я...

— Пугалась?

Дарья кивнула и поникла:

— Но маменька все одно куда-нибудь да сговорила бы, только папенька ей запретил. Сказал, что мне такой муж, который, стоит за дверь выйти, и не вспомнит про супругу, не надобен. А маменька тогда ответила, что мне только в монастырь прямая дорога. И то не факт, что там про меня не забудут.

Она сказала это так печально, что сердце дрогнуло. И Лешек осторожно сжал хрупкие пальчики. Вот же... и получается, он сам ее не видел... или если видел, то забыл?

И стало быть, снова забыть может?

Он нахмурился, взывая к другой своей крови: ну уж нет, на человека, может, дар этот и сработает, а вот со змеевой кровью... будем надеяться, что нет.

— А папенька тогда ей, что, мол, никакие монастыре мне не нужны. Что он мне долю в наследстве, как и Савушке — это мой брат, средний, так вот, он долю выделит. Дом купит где жить захочу... и буду я жить. И плевать ему, что это неприлично, потому как с таким даром все одно сплетни не пойдут. Я уже и приглядела, честно говоря. Есть у нас на самой границе вдовый дом, от моей прабабки. Небольшой, но справный, мне бы хватило.

Дарья высвободила руку и потеряла кончик носа:

— Чешется... Стало быть, колдуют рядом... менталисты... не люблю их, вечно норовят в голову залезть.

— А вы...

— Тоже дар... батюшка мой еще вашему деду служить изволил, за что и награжден был. И во время Смуты тоже отличился, и братья мои на службе.

Лешек позвал камни, которые откликнулись, сменяя цвет с темно-золотого на белый. Протянулись нити силы, с трудом продавливаясь сквозь тяжелые металлические жилы, пролегшие аккуратно под дворцом. Что поделать, матушкины волосы тянули к себе золото, и надо будет отвести после, перетянуть в другое место, пока жила не застыла, пока еще способна двигаться. Глянуть только сперва по карте, где там старые шахты есть, чтоб наново не бить.

— А меня вышивать вот обучали. Только я так и не научилась, — Дарья оглушительно чихнула и прикрыла рот ладошкой. — Сильный, зараза... Это ваш дар?

— Еще нет. Стой здесь. И говори, пожалуйста.

А то вдруг он и вправду потеряет.

— Так... чего говорить? — удивилась Дарья.

— Рассказывай... значит, вышивать не умеешь?

— И шить не умею, и голос у меня так себе, а музицирую вовсе отвратно, хотя матушка научить старалась. После мне это все скучно было, а вот братьев, наоборот, интересно учили, рассказывали про всякое... Я к ним сбегала, а про меня забывали.

Старая сила, задремавшая было, тоже откликнулась на Лешеков зов. Она раскрылась, развернулась тугой спиралью, потревожив и железную жилу, и совсем крохотную серебряную.

Где же ты? Не друг, а враг...

— Я долго так... и мои про меня забывали, а братовы учителя не обращали внимания, если тихо сидеть.

Никого.

Должен быть. Слушай камень превнимательно. Собирай крупички тепла, которого под землею мало, запоминай, как стучит сердце того, кто, должно быть, обнаружил, что сила больше не дичает.

Вот удивился, должно быть.

А вот человек был... Он прятался, и преумело, отгородившись от камня одеждой, и небось непростой... Но вот забылся, коснулся гранита ладонью, а тот и запомнил.

И след горел.

Лешек положил ладонь на камень. И сила отозвалась охотно, потянулась и схлынула, завихрилась, полетела, спеша к метке следа. Вздогнули подземелья, и грохот обвала разнесся по ним.

— Что это? — Дарья вздрогнула.

— Ничего, — соврал Лешек, ее пальчики аккуратно сжав. — Здесь случается.

— А врать вы не умеете.

— Не умею. Думаешь, надо учиться?

— Он все равно ушел, тот человек, — Дарья поморщилась и чихнула. — Не люблю менталистов...

А кто ж их любит?

Стрежницкий не спал. То ли совесть, внезапно очнувшаяся, мешала, то ли просто выспался за день, вылежался, и теперь перина казалась комковатой, пуховое одеяло — жарким, а собственное тело внезапно стало слабым, негодным.

И в голову вот лезло всякое.

— Богдан, — раздался тихий шепоток. — Что ж ты так со мной?

Он повернул голову и руку положил на рукоять револьвера. Оно-то, конечно, охрана охраной, а привычки привычками.

— Сама виновата, — ответил, чувствуя, как вялые пальцы беспомощно скользят по металлу. Ишь ты, и не сгибаются почти.

Зелья это. Выпейте. Надобно. Боль отступит. Да чтоб он хоть раз еще...

— В чем виновата? — слезливо поинтересовался голосок, от которого рана в глазу зачесалась невероятно. И Стрежницкий заскрипел зубами. Вот и где, спрашивается, эта самая охрана? Его, может статься, убивать пришли, а их будто и нет.

Спят, что ли?

— Так и ты ж меня убить собралась, — он закрыл глаза и задышал часто, быстро, заставляя себя сосредоточиться на вялой руке и треклятом револьвере, который оказался дальше, чем должен был быть. — Или не собиралась?

— Я тебя любила, — с упреком произнес призрак.

Повеяло холодом. Жутью.

А в голове прояснилось. Все ж таки боль — хорошее средство, от воздействия помогает наичудеснейшим способом.

— И дитя наше...

— Какое дитя? — пальцы таки добрались до рукояти. — Мы с тобой всего-то с полгодика вместе и побыли, откуда дитяти взяться?

— Мое... мое... — призрак отделился от стены. Он казался бледным пятном. — Разве ж не обещал ты заботиться...

Не обещал.

К обещаниям своим Стрежницкий относился весьма серьезно. И теперь подтянул револьвер поближе, а сам заскулил, надеясь, что выглядит в достаточной мере жалко, чтобы тварь подобралась поближе.

— Ты виноват, виноват... — знакомый голос очаровывал, и на глаза навернулись слезы, сердце в груди вспыхнуло, сжалось, а после пустилось вскачь. Того и гляди разорвется. Во рту пересохло, а пальцы мелко задрожали. — Искупи, искупи... искупи...

— Чем? — Стрежницкий зажмурился, изо всех сил пытаясь противостоять наваждению. А давили крепко, сминая волю; и если бы не благословенная боль в горящем глазу, он бы не выдержал. Он зацепился за эту рану, которая еще недавно злила, и держался ее, смакуя боль во всем ее мно-